

**СОВЕТСКАЯ НАЛОГОВО-ПОВИННОСТНАЯ СИСТЕМА  
В ВОСПРИЯТИИ СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ  
(ПО УСТНЫМ СВИДЕТЕЛЬСТВАМ КОНЦА 1980-Х – 2000-Х ГГ.)**

Рассматривается вопрос о восприятии жителями села советской налогово-повинностной системы в отношении колхозного двора и отражении ее в памяти в контексте трансформации российской деревни в XX в.

*Ключевые слова:* крестьянство, власть, налоги, повинности, память.

Народное восприятие участия государства в деревенской жизни двойственно. Тенденции локализма, натурализации, словом, — архаизации минимизирует разнообразные связи села с «большим обществом». Тенденции, связанные с развитием крестьянских хозяйств и ростом их производственных и культурных потребностей, расширяют подобные связи, опираясь на представления о крестьянском социальном долге перед государством и обществом. Политика, формирующая подобную систему обязательств крестьянства, является одним из важных индикаторов, позволяющих судить об отношениях города и деревни.

К рубежу XX—XXI вв. в российской сельской среде сложился определеннный канон воспоминаний о «крестьянском XX веке» — аграрной революции, единоличном хозяйствовании, коллективизации, колхозной повседневности. Наиболее активна та часть памяти, которая представляет репрессивную функцию власти, рассматривая крестьянство в качестве жертвы. Коллективизация воспринимается как трагедия российской деревни, принципиально изменившая ее образ жизни («крестьянский порядок») и ускорившая раскрестьянивание.

Применительно к рубежу 1920—1930-х гг. в воспоминаниях сельских жителей преобладает мнение, что «в колхоз пришли силой: кого задавили налогами, а кого раскулачили» [8, с. 27]. Память фиксирует замкнутый круг периода коллективизации, выраженный словами, будто «под копирку»: «Тут какими-то “кратниками” объявили их, богатых-то... Постановляют: «Вывезти столько-то хлеба». Ну, вывезет дедушка... все вывезет. Потом, на другой день, опять чем-нибудь наложат. Опять все вези — хлеб или что другое. До тех пор довозился, что амбар весь очистили. ...Ну, приехали, наложили его каким-то дидуальным налогом и все подмели под метелку»; «Принесут отцу бумагу-предпи-

---

<sup>1</sup> Кознова Ирина Евгеньевна, доктор исторических наук, Институт философии РАН, i.koznova@gmail.com, Россия, г. Москва.

сание сдать 100 пудов хлеба, и он везет на своей лошади. Старый он уже был, боялся... Через короткое время — новое предписание... Пока было, что везти — вез. Потом приходили сами уполномоченные и выгребали из амбаров под метелку (три больших амбара было)» [3, с. 147—148; 9, с. 9].

Если говорить о колхозном периоде, то в памяти давление власти относится к крестьянским повинностям, преимущественно в «классический» период колхозов в 1930-е — начале 1950-х гг. На первом месте воспоминаний отработочная повинность в колхозах, напряженный физический труд — работа «от зари до зари за палочки», за «поганые голые трудодни», по отношению к военному и послевоенному времени — как «бабы на себе плуг тягали». На второе место в воспоминаниях старшего поколения сельских жителей выходит круг повинностей, возложенных на их личные подворья в натурально-продуктовой и денежной формах.

Об отработочной повинности в колхозах («дармовом труде») вспоминают с горечью (хотя одновременно упоминается, что до войны и пели, работая на полях, и «жили весело»), об изъятиях из личных подворий — со страхом и содроганием. За констатацией «на уме и днем и ночью одно было: как рассчитаться с государством» [2, с. 45—46] скрывается оторопь перед происходившем в прошлом: «Да и в налоги сколько надо было отдавать всего — это ужас!» [3, с. 181]. Характерны заявления: «Налоги чертенные. Как жили?» [10, с. 45—46]. Все, что нарушало привычную жизнь, представляется воплощением инфернального начала.

Период становления и укрепления колхозов середины прошлого столетия оценивается в целом как время «непомерных» налогов; по отзывам сельских жителей, в колхозах «налоги душили», «крепкие были налоги»; «налоги были страшные»; «налоги нас давили», налоги «драли». Как правило, чаще в высказываниях используется слово «налог», объединяющее все изъятия, меньше — «поставки».

Существуют два аспекта представлений о системе повинностей, установленных властью для колхозного двора. В первом случае в свете ностальгического восприятия нэпа условия единоличного хозяйствования противопоставляются колхозным: «до колхозов работали в поле, держали скотину, платили налоги. Жили дружно» [8, с. 206]. Следует пояснить соотношение памяти и реальности 1920-х гг., когда отношение крестьян к неоднозначной налоговой политике большевиков варьировалось в широком спектре: существовали представления о ненужности налогов как таковых; преобладала убежденность, что «землю дали, а налогом задушили»; а восприятие фискальной системы как средства экономического стимулирования частью крестьян свидетельствовало, по мнению А.Я. Лившина, о наличии у них гражданского сознания [13, с. 236—245].

Второй аспект представлений о фискально-повинностной системе имеет в виду ее преемственность, начиная с Гражданской войны и вплоть до послевоенного времени. Эта политика связывается с действиями местных властей, но в целом — непосредственно с именем Сталина. В записанном в 1999 г. интервью с жительницей Волгоградской области, которой было тогда 84 года, до рубежа тысячелетий сохранялся «бытийный» вопрос — кого обвинять: «А зерна-то ведь не давали в колхозе ни граммочки. Шерсть отдай, мясо отдай, яички отдай, картошку отдай. А иде ее брать: одна корова и шесть душ детей. Иногда сяду вот, грешница, — Господи, может, Сталин это виноват, а может, своя власть?» [10, с. 10].

Подчеркивается еще один важный момент. Если в отношении 1920-х гг. присутствуют представления, что крестьяне сами платили налоги (приходили в сельсовет), то в 1930—1950-е гг., с установлением колхозов, «налоги забирали»: «И придут — все пооберут у хате: машину швейную, подушку... Брали-брали, брали-брали, пока брать больше нечего. Драли кожу» [11, с. 157]. Напомним, что до 1937 г. исчисление и взимание налогов с сельского населения выполняли сельсоветы [1].

Размеры натуральных и денежных государственных изъятий из колхозного двора по годам и видам продукции прочно хранятся в памяти сельских жителей. Как замечал В.А. Бердинских, «о налогах на вятской земле вспоминали с содроганием», а «цифры налогов намертво врезались в память. Они и сегодня называют их без запинки» [2, с. 370—379].

Свое восприятие системы изъятий сельские жители старшего поколения облачают в форму афоризмов, которые хотя и не являются паремиями, но очень близки им. Собранные в разных регионах России устные свидетельства выводят своеобразную чеканную формулировку — «сдай-сдай-сдай»: «А с налогами так. Выписывают тебе документ. А по нему: шерсть — сдавай, мясо — сдавай, яйца — сдавай, молоко — сдавай, масло — сдавай! Вот такой вот документ выписывали, на каждое хозяйство»; «молоко — сдай, шерсть — сдай, яйца — сдай, мясо — сдай, овчину — сдай»; «налоги были такие, что хоть держишь скотину, хоть нет, а шкуру сдай»; «мясо сдай, яйца сдай, молоко сдай»; «ниче не держали, а мясо сдай, яички сдай, молоко сдай. Масла нету — молоком сдавай»; «после войны — есть куры, нет кур — отдай, есть овцы, нет овец — отдай» [3, с. 220; 8, с. 157, 258, 336; 10, с. 209—210; 13, с. 318]. Эта суггестия, служащая выражением атмосферы угнетения призвана показать «нулевой результат» для крестьян — «себе ничего не оставалось», «такие налоги были! Молока, например, в доме оставалось только на то, чтобы “забелить” чай». Она вызывает к жизни жесткую формулу «сам не ешь, а государству сдай» [8, с. 60; 13, с. 327]. В любом случае, поиск денег для уплаты налога шел буквально по всем направлениям.

Способом прикрепления к колхозу становилась и система принудительных займов («на заем подписывались силком») – еще один канал «выжимания денег».

Память представляет систему своеобразных замкнутых кругов, в которые попадали колхозники. Это тоже свидетельствует о видении реальности сквозь призму традиционного стереотипного восприятия: «Много недовольных было. Придут на колхозное собрание – кричат, шумят, спорят. А перемен, все одно, никаких не наступало. И уйти из колхоза никак нельзя. Ведь паспортов у колхозников не было»; «Трудно было, когда государственный заем подписывали... Если не подпишешься, до работы не допускали. А если не допустят до работы, ты не выработаешь свои трудовни, значит, могут приписать к врагам народа и судить. Колхозник за заем расплачивался своим подсобным хозяйством. Но на него, опять же, были большие налоги. Эти налоги нас душили. Семье колхозника почти ничего и не оставалось. А что толку было возмущаться?! Не то скажешь, руки – назад, и не увидишь больше родных» [8, с. 196–197, 225–226].

Однонаправленное, но многообразное давление власти породило афористичное выражение «от налогов и от колхозов убежать было нельзя». Поэтому для памяти сельских жителей о колхозном прошлом очень характерны многочисленные эпизоды разнообразных «укусов власти», которые приходилось отражать на пределе последних возможностей.

В мемуаратах отмечалось, что, во-первых, налоговый агент, которого нередко сопровождал вооруженный милиционер, был «всегда настроен против народа» [3, с. 19; 8, с. 107, 304, 336]. Во-вторых, его боялись все («он был гроза в то время»), включая председателей колхоза и сельсовета; потому так и запомнился образ уполномоченного – мужчины с полевой сумкой на боку. Страх перед ним сохранился вплоть до настоящего времени.

Поволжский крестьянин вспоминал: «Агент у нас был... Тоже сволочь хорошая! Приходит: “Сдавай!” Замнешься маненько, он сразу: “Нет?!” Сейчас тебя в сторону отодвигает и сам забирается во двор. Овец ли, корову ли, поросенка ли, – все подряд хватает и уводит. И рассчитается там с налогами, да и себе, видать, прихватит. Вот так он во делал, сволочь такая!» [3, с. 220].

Характерен и рассказ поволжской крестьянки: «У нас был козел холощенный... Я его общипаю на пух, а потом хотела его зарезать – детям на пропитание. Завела в хату, стала общипывать. И вот еще только одну сторону обобрала у козла, – идет налоговый агент... Такой он был гад! А ведь еще считался товарищ – они с хозяином... вместе служили... И собака всегда при нем. Заходит, спрашивает: “Сколько у тебя овец?” А тогда ж норму давали, – сколько можно было овец держать. Четыре можно было... А я держала козла, чтобы

детям зарезать. Ну, он говорит, агент: “Хочешь резать, – штраф заплати, тогда режь! А хочешь, значит, сдай...” Ну что ж, – я штраф заплатила, а тогда зарезала... Вот если бы я его зарезала раньше, то все бы сошло! А раз он захватил это, раз увидел, что у меня лишняя скотина есть на счету, – значит, плати! ... Не знаю, какие деньги там у меня были? Факт, что облаканные они были... А куда ж деваться?!. Вот как деньги нам трудно доставались! Тыквенных семечек наберу и продаю стаканом. Стакан был в дому единственный, а дети разбили его. Так бумажкой его подвязала и ходила так на базар» [3, с. 281].

Приводимые М.А. Безниным и Т.М. Димони данные говорят о высоком уровне эксплуатации колхозного двора при выполнении обязательных поставок и денежных выплатах, особенно в 1948–1952 гг. [1]. Тяжесть послевоенных натуральных и денежных повинностей сельские жители сравнивают с налоговым прессом кануна коллективизации; фактически это давление было сродни второму «раскулачиванию», только касалось всех колхозников, становилось новым витком государственного «закручивания гаек» применительно к деревне. Любопытно свидетельство бывшего спецпоселенца: «После смерти Сталина [спецпоселенцам] паспорта выдали. Я решил съездить на родину, а там еще ужаснее живут люди, налоги бесконечные – все отдай, люди живут с долгами. Приехал я домой, а там младший брат пришел из армии, домишко себе построил (это было в 1954–1955 гг.), а потом пришли дом за неуплату долгов описывать. И тут мне это показалось таким страшным, напомнило вновь раскулачивание, которое было в детстве. Я еле уплатил все налоги, т.к. у меня были деньги и поехал на север» [9, с. 172].

С одной стороны, после 1953 г. произошло сокращение уровня и видов повинностей, смягчение налоговой политики в отношении крестьянского двора, что отразилось в памяти сельских жителей. В то же время наказания за невыполнение обязательных поставок хотя и смягчались, но сохранялись в разной форме [1].

В устных свидетельствах представлены различные варианты неприятия советской повинностной системы.

Подобные стороны отношений деревни и государства ярко отразились в фольклоре, выстраивая образ «колхозничка с торбочкой». Фольклор устанавливал тесную связь между увиденной с колхозного двора «распоследней коровкой» и народными представлениями о гастрономических пристрастиях вождя, сводимыми к колбасе как символу более высокого качества городского продовольственного потребления [5, с. 510, 511].

В начале 1990-х гг. в Безенчукском районе Самарской области В.В. Кондрашиным был записан анекдот, рассказывающий, как на уроке в сельской школе на вопрос учителя, что за скелет перед ним, ученик Ваня отвечал: «Скелет колхозника». На встречный вопрос «По-

чему?» давался вполне исчерпывающий ответ: «Да он все сдал: мясо сдал, яйца и кости сдал. Вот скелет у колхозника и остался!» [5, с. 509–510].

Именно эти обстоятельства порождали разрывы в повседневном существовании, буквально — экзистенциальные ситуации, ставившие вопрос о жизни и смерти. Крестьянский протест по форме выражался схоже, но содержание было разным: в одних случаях с оттенком «черного юмора», когда на столбах вешали дохлую курицу или мешок картошки с объясняющими данные поступки надписями, в других случаях речь шла о настоящей трагедии [5, с. 512]. Вот два свидетельства с вятской земли: «Бывало, все ночи сидели: подписывайся и все! Да как я подпишусь, если платить нечем? Ведь ни рублика не платили. Весной, помнится, раз не подписалась, так в сельсовет вызвали. Уперлись: давай да давай. Я уж утопиться пригрозила, так тогда струхнули. Ладно, мол, пиши, что вчера говорила, на четыре сотни»; «Мать держит корову — все, сдай молоко. Пришлось зарезать корову. А в 1947 г. мать от беспросветности положила руку на себя. Меня и отца обложили налогом. Командовал этим Берия. Сталин чихал на все это. Мы не могли заплатить. Тогда имущество забрали. Увезли, оценили за бесценок все» [2, с. 17, 22].

Кстати, именно в 1930–1950-е гг. были весьма распространены пропагандистские издания, повествующие о дореволюционной деревенской нищете, представляющие бесчеловечное отношение представителей власти к крестьянам в моменты взимания недоимок.

Еще один вариант неприятия сталинской системы повинностей может быть назван «как изворачивались»: «нас так налогами обложили... С овечки нужно было сдать 40 кг мяса. Одна овечка столько не потянет. Заводить вторую, совсем в налогах погрязнешь. Поэтому мы с соседкой на двоих тайно держали три овечки. Это было в строжайшем секрете от всех. Мы друг дружке помогали»; «налоги у нас были огромными. Чтобы никто не знал, что я держу овечку, я выпасала ее тайком ночью, а днем прятала в стайке. Днем намотаешься, устанешь, а ночью еще и овечку пасешь» [8, с. 180, 238]. Вероятно, это все же исключения, поскольку уровень информированности в сельском обществе был достаточно высоким, чем пользовались уполномоченные. Как и в момент коллективизации, соседские связи подвергались проверке на прочность.

Представлен в мемуаратах вариант, фиксирующий вербально выраженный протест. Поволжская крестьянка, чудом избежавшая «раскулачивания» с семьей первого мужа, умершего во время голода 1933 г., вспоминала предвоенный «налоговый удар», за критику которого она получила шесть месяцев принудительных работ, а второй муж — два года тюрьмы: «Налог наложили, а денег-то еще не давали... Идут с описью. Ну чего же описывать-то? Скотину-то мы еще летось сдали.

Ну, зеркало было у нас. Самовар был. И тыквы были под кроватью... А я стою и говорю: “Эх, вы! Одну семью угробили, а вот теперь другую угробляете...”... А они — выкатывают тыквы, считают... Один из членов Совета показал, что его по башке ударили тыквой. Забрали тыкву у нас, свеклу забрали, самовар забрали, зеркало забрали — увезли. Постель только оставили. Да уж она-то — дерюга и дерюга. И нас забрали... Ну осудили нас...» [3, с. 155].

Выразителен рассказ псковского крестьянина, представляющий диалог «земли» с «асфальтом», полемику народной Правды с властной Кривдой: «Едут по полю проверять урожай... С машин не слезут, не пройдут, не поглядят. Я говорю этому пузатому, что к нам приезжал, и его, говорят, в Соловьеве чуть бабы не убили, я говорю: “Давай пройдем! Проведу я вас немножко по полю. Хватит вам ездить”. — “Ну, я не за тем приехал, чтоб по вашему полю ходить!” — “А за чем ты приехал? Раз ты не за тем приехал, чтоб поле глядеть, так давай нам, что было после войны: план такой на молоко, масло, яйца, мясо, чтоб выполнить нельзя, да по тыщи займа. Вот такие давали, как и ты приехал”. И они с людям не разговаривали — дали план и поехали. Пока до того доотобиралися, что сдевали с людей последнюю рубашку, голыми по полю отправляли. Ну, было ж так? Было!» [11, с. 157]. На Алтае, по воспоминаниям сельчанки, «был у нас в тракторной бригаде старенький тракторист. Он, бывало, станет начальникам говорить: “Вы с кого берете займ? С кого берете? Видишь, она холодная, она голодная, она разутая ходит, резиной подшитая. Вы что думаете?”» [10, с. 209].

Изменение повинностной системы и уменьшение налогов связывается сельскими жителями со смертью Сталина. Интересно замечание: «А в те мартовские траурные дни колхозники думали, останутся ли налоги и рассуждали, кого поставят во главе правительства» [2, с. 376–377]. Оно демонстрирует ту грань, которая существовала между деревенским и городским восприятием сталинской системы и самого вождя.

Правда, если в отношении того, что «после смерти Сталина жить стало лучше» память единодушна, то, упоминая его преемника, скорректировавшего курс изъятий из деревни, память предлагает целый спектр имен — Маленкова, Кагановича, Хрущева. Дело, вероятно, и в непрочности памяти, и в незнании, и в народном отношении к «вождям». Больше все же помнится, что «отменил адские налоги» Маленков. Для многих женских свидетельств характерно смешение времени. Например, жительница сибирского села, которой в момент интервью в 1999 г. было 89 лет, отмечала: «после войны, уже при Хрущеве...» [8, с. 60].

В восприятии крестьян повинностные послабления середины 1950-х гг. были нейтрализованы всевозможными запретами для личных

подворий в хрущевский период, поэтому речь идет скорее о подчеркивании преемственности аграрной политики. Память о брежневском периоде, принесшем в деревню раскрепощение, выражает примирение с властью, превращение колхоза в деревенскую традицию, вносит в постсоветскую сельскую жизнь настроения ностальгии по тому времени.

Проводимый обществом «Мемориал» Всероссийский исторический конкурс старшеклассников «Человек в истории. Россия – XX век», более трети участников которого – сельские школьники, позволяет увидеть, как происходит традирование крестьянской истории [12]. Крестьянская история XX века описывается подростками в целом в рамках того же канона, который они узнали от старших поколений: в нэп «сдавали продналог, а излишки продавали»; коллективизация принята как неизбежность, иначе «задавят налогами». Описывая крестьянские способы противодействия властному нажиму в колхозный период, записывая суждения, что «брали больше, чем Мамай. Чингисхан 10 % брал. А у нас...», тверские школьницы заключают: «Власть давила налогами – колхозники по-тихому продавали скотину. Семьи погибших власть не освобождала даже от части налогов – крепились, платили полностью. От сборщика облигаций прятались. Колхозники умудрялись выкручиваться, чтоб как-то выжить, даже выучить детей. Жили за счет своего хозяйства, точнее, что останется после налогов» [6]. Из рассказов бабушки внука с. Новый Курлак Воронежской области узнает, что «после войны налогами душили». Вновь, теперь уже в передаче школьниц, звучит упоминаемая выше формулировка: «масло сдай..., мясо сдай... Есть у тебя мясо или нет, но положенное сдай. Есть у тебя кура или нет, а 100 яиц сдай. Это хоть умри, но надо было сдать». В представлении бабушки, родившейся в 1932 г., «наверное, самое трудное время застала». Можно сказать, они с внучкой ровесники, разделенные временем в три четверти века [4].

Стремясь разобраться в советской истории, подростки относят себя к «другой эре», им не близка ностальгия старших по колхозам. Их волнует будущее российского села, однако они живут в ситуации, когда уже давно ведущей тенденцией является настрой земледельцев на отъезд молодых поколений в город.

#### Литература

1. *Безнин М.А., Димони Т.М.* Повинности российских колхозников в 1930–1960-е годы // Отечественная история. 2002. № 2. С. 96–111.
2. *Бердинских В.А.* Крестьянская цивилизация в России. М., 2001.
3. *Голоса крестьян: Сельская Россия XX века в крестьянских мемуарах* / сост. Е.М. Ковалев. М., 1996.

4. *Губарёва Дарья, Козлова Дарья*. Курлакские руины социализма. URL: <http://urokiistorii.ru/taxonomy/term/242/51776> (дата обращения: 25.10.2014).
5. *Кондрашин В.В.* Голод 1932–1933 годов: трагедия российской деревни. М., 2008.
6. *Корсакова Александра, Корсакова Полина*. Оружие слабых. Крестьяне деревни Брехово в годы войны. URL: <http://urokiistorii.ru/taxonomy/term/242/51776> (дата обращения: 25.10.2014).
7. *Лившин А.Я.* Настроения и политические эмоции в Советской России. 1917 – 1932 гг. М., 2010.
8. *Лопатин Л.Н., Лопатина Н.Л.* Коллективизация и раскулачивание (очевидцы и документы свидетельствуют). Кемерово, 2009.
9. Раскулачивание и крестьянская ссылка в социальной памяти людей: Исследования, воспоминания, документы / авт.-сост. Г.Ф. Доброноженко, Л.С. Шабалова. Сыктывкар, 2005.
10. Русская деревня в рассказах ее жителей / под ред. Л.Л. Касаткина. М., 2010.
11. 60 лет колхозной жизни глазами крестьян. Публ. Е.Н. Разумовской // Звенья. Исторический альманах. Вып. 1. М., 1991.
12. Школьный конкурс «Человек в истории. Россия – XX век». URL: <http://urokiistorii.ru/konkurs> (дата обращения: 25.10.2014).
13. *Щеглова Т.К.* Деревня и крестьянство Алтайского края в XX веке. Устная история. Барнаул, 2008.